

ЮРИЙ ГЕРМАН

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!



ЮРИЙ
ГЕРМАН

**ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!**

*Советский
писатель
Ленинград
1961*

Р 2
Г 38

Документальная повесть Ю. П. Германа «Здравствуйте, доктор!» рассказывает о заслуженном враче республики Николае Евгеньевиче Слупском, работающем сейчас в Сестрорецкой городской больнице. За многие годы, отданные медицине, «просто доктор» Н. Е. Слупский сделал сотни сложнейших операций, поднял на ноги не одну больницу, вернул жизнь тысячам людей. Вся его деятельность целиком посвящена заботам о человеческом здоровье.

Один больной, журналист по специальности, как-то мне сказал: «Медицина поднялась на такую высоту, что с нее ей не видно больного человека».

Проф. В. Э. Салищев.
«Записки хирурга».

«Лечили меня и «боги» и «полубоги», да ни помогли, а помог «просто доктор», коммунист Слупский. Теперь живу и радуюсь, тружусь по старой специальности — агрономом, не на хлебник у Родины, а работник, и все это от Вас, дорогой Николай Евгеньевич. Тут и голова Ваша светлая, и руки золотые, и умение пошутить, подбодрить, побеседовать, когда на душе печально и темно. Спасибо Вам, что Вы всю Вашу жизнь отдали народу, спасибо, что не «ушли от станка» — от операционного стола, спасибо, что анализы, кардиографы, рентгеновские аппараты и всякие иные хорошие и полезные вещи не заслонили от Вас — нашего брата, просто

страдающего человека. Вы, конечно, меня помнить не можете с моей редкой и оригинальной фамилией Иванов, но мы — сотни и тысячи — Вас, нашего спасителя, с великой благодарностью всегда вспоминать будем, где бы мы ни находились и какое бы пространство ни отделяло нас от города Сестрорецка».

*Иванов И. Г., бывший гвардии майор
и бывший инвалид Отечественной войны.*

НЕ ЛЕГКО МОЛОДОМУ...

Пять бывших краскомов — красных командиров, в порыжелых сапогах, в протертых галифе, в пропотевших френчах и гимнастерках, стояли перед задумавшимся профессором. Среди них стоял и Николай Евгеньевич Слупский. Отвоевав гражданскую, с превеликими трудностями сын деревенского попа прорвался к страстно любимой им медицине...

Профессор В. курил черную, длинную, ароматнейшую сигару из старых запасов. Итальянские вина, французские коньяки и сигары знаменитый профессор имел обыкновение закупать сразу на несколько лет вперед. В этот сентябрьский день 1920 года запас сигар у про-

фессора В. пришел к концу. По этой причине у профессора было чрезвычайно плохое настроение.

Бывшие краскомы, нынешние студенты-медики, молчали. Влюбленные в великую науку — медицину, они робели перед лицом одного из ее титулованных сынов.

— Ну-с, так-с, — со вздохом произнес наконец профессор. — Позвольте-ка ваш матрикул, господин, э-э-э, прошу прощенья, гражданин, э-э-э ...

Бывший краском, известнейший впоследствии хирург Р., сунул руку за голенище потрескавшегося и залатанного сапога и вынул завернутый в газету матрикул.

— Вы носите свой матрикул в портянке? — осведомился профессор.

Не торопясь, он натянул на руки резиновые перчатки и пинцетом открыл матрикул. Все пятеро выдавших виды краскомов побелели. На их глазах рухнуло и разбилось в пыль и прах то, что представлялось им чем-то вроде бо-

жества в науке. Ничтожный челове-
чишка, продавший дело свое и душу за
роскошный образ жизни, обнаружился
перед молодыми медиками во всей своей
отвратительной наготе.

Но лекции его они все-таки слушали.
И если он не договаривал или пускался
в заведомо подготовленные туманности,
то «кухаркины дети», как он их на-
зывал, твердо и жестко требовали
разъяснений.

Профессор В. злился и «разъяснял»
скрипучим от бешенства голосом.

Потом он удрал за границу и жало-
вался там, как из него «вытрясали» его
знания.

Жаловался на русских студентов, иг-
рал на скачках и пил. А Николай Ев-
геньевич Слупский и по сей день посме-
ивается:

— Что правда, то правда: трясли
бедолагу здорово. Даром он свой хлеб
не ел. Мы учиться пришли, а не шутки
шутить. И по собственному, как говорит-
ся, желанию. Я во сне видел — лечу,

оперирую, во сне пугался — надо оперировать, а как — не знаю...

Сдав экзамены, бывший краском, молодой врач Слупский получил назначение в провинцию, на здравпункт «Дружная Горка», где в ту пору был единственный наш завод, изготавливающий лабораторную посуду.

Завод только что поднимался из руин, только-только стал собирать старых мастеров, удивительнейших и редчайших искусников.

Молодому врачу не хватало работы. Ему было мало и здравпункта, и хирургии, и постоянных вызовов на квартиры. Не хватало работы и на заводе, который — по старинке, по традициям «от хозяина» — не повел еще настоящую, планомерную борьбу с тяжелыми производственными травмами — так именовались тогда свинцовые отравления.

После очень длительных исканий и труднейших опытов Николай Евгеньевич соорудил респиратор для защиты во время работы от пыли.

Крупнейший гигиенист Военно-медицинской академии профессор Хлопин, осмотрев респиратор, долго разглядывал молодого врача. Николай Евгеньевич приготовился к бою, но бой не состоялся.

— Ты у кого учился? — спросил Хлопин.

Николай Евгеньевич поименно перечислил всех своих учителей, назвав и великого Ивана Петровича Павлова.

— То-то, — сказал Хлопин. — Останешься у меня. Ты мне подходишь. Надеюсь, что и я тебе подойду. Мне такие парни нужны. И академии нужны.

Но Николай Евгеньевич отклонил предложение Хлопина и вернулся на «Дружную Горку». Он не мог оставить, бросить завод в трудное время. Респиратор пошел в массовое производство. Обладая большой фильтрационной поверхностью, портативный, удобный, легкий, — он полностью соответствовал своему назначению. Одно дело было закончено. Слупский занялся планомерным

обследованием здоровья рабочих, стоявших у печей, измерял температуры, при которых они работали, обследовал сердечную деятельность, и о некоторых частностях рассказывал начальству.

Начальству эти «частности» нравились не слишком. За частностями предполагались выводы. Выводы, в свою очередь, требовали улучшения производственных условий, короче — дополнительных денежных вложений. Однажды молодому доктору недвусмысленно дали понять, чтобы не в свое дело он не «вмешивался», не лез не в свою специальность.

— Ты лечи, — строго-настрого посоветовали ему, — есть у тебя порошки, клистиры, микстуры, капли, грелки, мази, вот и делай, что по твоей науке predetermined. Ты не техник. Ты врач. А здесь мы сами управимся. И молод еще указания давать. Респиратор!

На кличку «респиратор» Николай Евгеньевич не обиделся. Его респиратор свое дело делал. А вмешиваться у Слуп-

ского стало жизненным правилом. Так, «вмешавшись», молодой доктор сделал заводскому коллективу большой и очень интересный доклад о том, каким образом оберегать себя от всего ядовитого на производстве. Доклад был точный, умный, конкретный и полезный. Старые производственники записывали, задавали вопросы и, что самое существенное, советовали. Завязался и спор. Правда, председатель завкома на доклад не явился, заявив заранее, что на нашем советском производстве никаких «вредных моментов» быть не может, «это тебе, товарищ доктор, не капитализм, ты мне рабочих разлагаешь, о чем, впрочем, поговорим в другом месте». Ни в каком другом месте разговор не состоялся еще и по той довольно основательной причине, что председателя завкома на перевыборах рабочий класс не без удовольствия провалил. Николай Евгеньевич в это самое время делал сложный расчет необходимой вентиляции при фтористо-водородном травлении,

то есть опять «вмешался». Новый состав завкома идею вентиляции, рассчитанной молодым врачом, горячо поддержал. С производственным травматизмом на «Дружной Горке» было покончено, и только тогда Николай Евгеньевич посчитал возможным поехать в Ленинград к знаменитому Ивану Ивановичу Грекову. Здесь, в первые же дни, Слупский при довольно занятных обстоятельствах выдержал «экзамен на хирурга у самого Ивана Ивановича».

Всем близко знающим Грекова было известно, как мягко, просто и даже ласково вел он себя по отношению к подчиненным. Но во время операций, которые он проводил «лаконично», рассчитывая и экономя каждое движение, знаменитый хирург относился абсолютно нетерпимо к потере даже доли секунды; в этих случаях замешкавшемуся помощнику доставалось замечание такой язвительной силы, что бедняга долго корил себя своей нерасторопностью и только поеживался, вспоминая пережи-

тые давным-давно минуты. Однако с молодыми, едва начинающими хирургами Греков был удивительно ровен и терпелив, поэтому первое же резкое замечание во время хода операции расценивалось здесь как диплом на хирургическую зрелость.

Резкое и короткое замечание он получил на первой же операции, проведенной в присутствии Ивана Ивановича.

С этим замечанием Слупского поздравили:

— Неслыханный случай, — было сказано ему. — На самой первой сразу произведен.

У Грекова молодой доктор прошел великолепную школу «отношения к больному человеку». Ассистируя Ивану Ивановичу, Слупский всегда с радостью следил за тем, как Греков спокойно подходил к операционному столу, как ласково и весело заглядывал в глаза больному, как спрашивал имя-отчество и не жалел времени на то, чтобы полностью успокоить взволнованного близостью опера-

ции человека. У Грекова же Николай Евгеньевич научился еще одному драгоценному свойству: «отдыхать в работе». Именно так говорил Иван Иванович Греков: «В работе надобно учиться отдыхать, в труде черпать силенки».

В одно из первых дежурств Слупского из Оредежи привезли женщину с огнестрельными ранениями живота. Доставлена она была только через тринадцать часов после того, как ревнивый муж четырежды выстрелил в нее из револьвера. Николай Евгеньевич сделал ей тяжелую операцию — резекцию тонкой кишки. Все закончилось благополучно. Наутро седовласый, славящийся своей необыкновенной осторожностью хирург, профессор Александров, укоризненно покачав головой, сказал:

— Раненько вы, батенька, начали делать резекции.

Иван Иванович Греков с осторожнейшим хирургом «позволил себе не согласиться». Красный от смущения, Николай Евгеньевич выслушал несколько очень

добрых слов знаменитого Грекова, сказанных «по-грековски», в форме добродушной и грубоватой. Осторожнейший Александров поджал губы: он не мог не понять, что в похвале Слупскому содержался и упрек его прославленной александровской осторожности. Четырежды раненная Белинская, быстро поправившись, уехала в Оредеж. А вскорости Александров ушел от Грекова и открыл свою собственную, личную, частную клиничку, — были еще годы нэпа, чрезвычайно представительный, седовласый «импозантнейший» профессор не смог сработаться с Грековым и его «гвардией» — с такой молодежью, как Слупский.

Более двух лет Николай Евгеньевич проработал под руководством Грекова. Внимательно, требовательно, строго и настойчиво профессор Греков следил за ростом молодого хирурга, с интересом вслушиваясь в его рассуждения, в планы подготавливаемых Слупским операций, иногда подсказывая недостающую

мысль, порою охлаждая слишком радостные надежды.

Однажды к Грекову привезли рабочего с бумажной фабрики из Красного Села. У этого рабочего в чайнике, как всегда на работе, была кипяченая вода для питья. В бумажной промышленности для растворения древесины пользуются каустической содой. В обеденный перерыв, когда Романов вышел из цеха, молодая работница налила в чайник каустической соды, для того чтобы сварить мыло. Романов, пообедав соленым супом, выпил полчайника каустической соды. Разумеется, образовались ожоги пищевода. На здравпункте пищевод тяжело травмировали зондом. Николай Евгеньевич сделал Романову временный искусственный ход в желудок через живот и рассказал Ивану Ивановичу свой план операции на пищеводе. Греков выслушал и кивнул:

— Что ж, Николай Евгеньевич! Делай! Слупский утер пот: операция эта

безусловно принадлежала к тем, которые именуются «профессорскими», что молодой врач и не преминул высказать Грекову.

Тот ответил с характерной усмешкой, так красящей его лицо:

— Профессора бывают разные. Врачи — тоже.

И ласковым движением своей большой, сильной руки «Иван Иванович Греков — исцелитель человеков», как сказал про него поэт, потрепал Слупского по плечу:

— Завтра и прооперируешь.

В этот день, кроме самого Грекова, в операционной были еще четыре профессора. В ходе операции Иван Иванович не сделал ни одного замечания своему ученику, но зато Николай Евгеньевич слышал фразу, сказанную Грековым своим коллегам профессорам. Слова эти Слупский запомнил на всю жизнь, это было как бы напутствие, путевка в трудную жизнь хирурга, данная знаменитым

профессором своему совсем еще молодому выученику.

— Теперь его Колей не назовешь. Теперь он нам, извините-подвиньтесь, Николай Евгеньевич. Так-то, многоуважаемые коллеги.

Слупский, кончив операцию, разбудил грудной отдел пищевода.

Уникальная операция кончилась благополучно.

В эту самую пору Слупскому при наложении на желудок свища с последующим разбуживанием пищевода удалось исследовать картину влияния механического раздражения на секрецию желудочного сока.

О последующем больно и стыдно писать, но, к сожалению, нашлись люди, которые, используя свои научные титулы, должности и занимаемое в научной иерархии место, попытались просто-напросто украсть у молодого врача его работу, работу тем более ценную, что Иван Петрович Павлов не-

задолго до своей кончины чрезвычайно ею заинтересовался.

Слупский не сдался.

Тогда ему предложили сложную комбинацию соавторства.

Он и на это не пошел. Элегантнейший Александров принял посильное участие в организации надвигающихся на Слупского неприятностей. Теперь осторожнейший профессор был не одинок.

Иван Иванович Греков вызвал Николая Евгеньевича к себе в кабинет. Раздраженно и горько он сказал ему, назвав его, как когда-то, Колей:

— Вот что, Коля: не совладать мне больше с этим напором. Лавочку Александра в связи с тем, что нэпу пришла крышка, — прикрыли. Но профессор есть профессор. Вот — написал... В общем, ты, как тебе известно, поповский сын. А он, Александров, «сын бедных, но честных родителей», как это пишется в таких случаях. Я тебя «пригрел», а ему «создал невыносимые усло-

вия». Я ему, нашему зайчику, тебя, поповского сына, противопоставил, а он, кротчайший и добрейший, в такие был невозможные ситуации поставлен, что пошел на службу к частному хозяйчику. Дрянь все это и грязь, но боюсь, что трудно тебе будет. Ты хирург сложившийся, за тебя я спокоен, работы ты не боишься. Поезжай главврачом в Чудово. Не легко будет, но советская власть поможет. В случае чего — иди к ней. За больных — дерись, дерись смертно, на увечья, которые в этакой драке получишь, внимания не обращай. А впрочем, этими увечьями и похвастаться можно. И главное, Николай Евгеньевич, помни: ты — доктор. В смысле — врач. По моему стариковскому разумению, лучшего титула на нашей земле нет. Ни пуха тебе ни пера. И смотри же, не обижайся ни в коем случае. Дураки и завистники, ничтожества и чиновники помирают, а народ вечен. Ему и определился ты служить. А теперь, чтобы не

уезжал ты с кислой миной, расскажу тебе одну историйку, которая со мной произошла, но расскажу с назидательной целью. Цель морали моей такова: не обижайся на больных, они — больные, а ты — здоровый. Им тяжело, а тебе легко. Ты помни всегда — шуткой очень можно помочь человеку и даже полностью расположить к себе доверие народа, а это врачу ох как важно...

И рассказал.

Прооперировал Греков старуху с целью извлечения камней из мочевого пузыря. Из-за преклонных лет и дурного сердца больной операция производилась под местной анестезией. Старуха вела себя мужественно, но когда Греков начал орудовать иглой — бабка разворчалась:

— Поторопился бы ты, батюшка! Думаешь, легко терпеть-то? Э-эх, плох портняжка, коль так долго возишься...

Греков, разумеется, иглой орудовал искусно, но ткани тела все время рва-

лись, и он в том же ворчливом тоне, что и старуха, ответил ей:

— Портной-то, мамушка, вроде бы и не из последних, а вот суконце подгуляло, поизносилось здорово, так поизносилось, что на портного и грех валить...

Старуха, несмотря на боль, хихикнула, а назавтра вся округа знала эту беседу по поводу портного и суконца...

На прощание учитель и выученик поцеловались.

Более они никогда не виделись.

С тощим чемоданчиком, в плохоньком, «несолидном» пальтишке, в кепочке с пуговкой, дождливым утром Николай Евгеньевич Слупский сошел с поезда в Чудове. Было это в тот самый час, когда маститый профессор Александров, лучезарно улыбаясь, вновь оформлялся в Обуховской больнице. Пахло от него привезенными из Англии мужскими духами «Запах кожи», и в небрежно повязанном узле галстука матово светилась большая серая жемчужина.

ЧУДО В ЧУДОВЕ

Чудово встретило Николая Евгеньевича Слупского крайне неприветливо. Завхоз больницы, выгнанный за «пьянство и буянство» из милиции, сделал вновь прибывшему главному врачу следующее официальное заявление:

— Я — Соломонов Захар Алексеевич, нахожусь здесь на должности красного директора. Ты — спец и обязан целиком мне подчиняться. Если будешь себя соблюдать, произведу в технического директора. Еще: на инвентарь и оборудование средств нет и не будет. В смысле медикаментов — не надейся. Лечи беседами и лаской. Обхождением лечи. А которые особо настырные — пусть в Ленинград едут, мы не задерживаем. И тебе поспокойнее, и мне мороки меньше. Учти также: если против меня пойдешь, я тебя с больничной кашей съем и не подавлюсь. Отправляйся, работай, у меня нынче день неприемный...

Впрочем, через несколько дней «крас-

ный директор» раздобрился и после очередной речи выдал своему «спецу» восемь рублей на приобретение имущества.

Выручил рабочий класс.

Ему, его величеству рабочему классу, молодой «вмешивающийся» доктор рассказал, каковы дела со здравоохранением в Чудове. Старый слесарь Рузаев из железнодорожного депо внес предложение: отработать один день на приобретение инструментов и всякого прочего, необходимого нашей медицине инвентаря. Проголосовали — единогласно. Всю ту памятную пятницу рабочий класс Чудова работал на свою больницу — это было противозаконно, но тем не менее Николаю Евгеньевичу выдали на руки три тысячи пятьсот рублей. С этими деньгами он поехал в Ленинград, где инвентарь и инструменты были куплены. В окрздраве на Слупского долго кричали и даже ногами топали, а некто Зайцев заявил:

— Какого тебе черта больше всех надо! Нет инструмента, нет инвентаря, нет медикаментов — отдыхай! В Чудове пейзаж знаменитый. Рыбалка тоже. Только назначили — уже от тебя шум пошел.

Николай Евгеньевич ответил по возможности спокойно:

— Без шума с вами не проживешь. А отдыхать я начну после того, как исполнится мне восемьдесят лет. Будьте здоровы.

Через месяц после этого памятного разговора Слупский открыл хирургическое отделение. Первой операцией, которую он здесь сделал, было кесарево сечение. И мать — работница, одна из тех, которая отработала день на свою больницу, — и ребенок остались живыми и здоровыми. Рузаев, встретив Слупского на улице, первым снял картуз и сказал солидно:

— Уже на одном этом кесаревом тот наш день рабочий не пропал. Ты дальше

старайся — поддержим. Ежели что — иди к нам. А я, кстати, днями к тебе наведаюсь: точит меня что-то в брюхе — надо научно разобраться.

Слупский разобрался. Рузаева пришлось прооперировать. Операция была трудная, тяжелая, опасная. О возможности печальных последствий Николай Евгеньевич старого слесаря предупредил и выслушал своеобразный ответ:

— Мы, большевики, товарищ доктор, люди рискованные. Есть у нас такая некая дата — седьмое ноября. Между прочим, рисковали. Так что давай делай.

Слупский удалил Рузаеву и желудок и поперечно-ободочную кишку. Старик поправлялся медленно, но поправлялся. Не умея ничего не делать, он здесь же, на больничной койке, взвалил на слабые свои плечи функции первого помощника молодого доктора в борьбе с кривдой, с пьяным и невежественным завхозом. Именно в эту пору Захар Алексеевич Соломонов, именовавший себя красным директором, обвинил «спе-

ца» Слупского ни более ни менее как во вредительстве, на том основании, что Николай Евгеньевич изготовил для операционной «из стекла — легко бьющиеся и подверженные трещинам, вплоть до осколков, — шкафы, в то время как для себя заказал личный шкаф из крепких досок». В результате энергичного вмешательства Рузаева обвинение во вредительстве было снято, сняли заодно и «красного директора», который, кстати, не более чем через полгода, кряхтя и охая, взгромоздился на операционный стол Слупского и перед наркозом жалостно попросил:

— Ты того, доктор... Зла не помни... А то ошибешься маленько, и нет больше заслуженного человека Соломонова...

Николай Евгеньевич не ошибся. Соломонов и по сей час здравствует, но про «спеца» Слупского вспоминать, как это ни странно, не любит.

Из Чудова больных в Ленинград больше не возили. Слупский в своей больнице делал любые операции. Глав-

ный помощник Николая Евгеньевича, старый врач Агишев, пожимая плечами, предупреждал:

— Рискуете, батенька, до крайности рискуете. Все сами... Зачем? Для чего? Направлять надо в большие больницы, а не затрудняться риском.

Слупский действительно все делал сам — и оперировал, и выхаживал прооперированных. Агишев к прооперируемым не подходил: «Если что случится — дело не мое. Слупский режет, с него и спрашивайте. Его дело петушиное — прокукарекал, а там хоть и не рассветай».

И с Агишевым помог справиться Рузаев. Слабый, опираясь на палочку, тайком от Николая Евгеньевича, пошел в Чудовскую городскую партийную организацию, рассказал все как есть, попросил поставить доклад Слупского на бюро. После доклада секретарь райкома сказал Николаю Евгеньевичу:

— Гоните вы всю эту сволочь. Пусть не мешают. А больницу нужно развора-

чивать. Вы человек молодой, энергичный, операции операциями, лечение лечением — за это за все вам спасибо, но только, знаете ли, больница без водопровода ни нас, ни вас устроить не может. Подсобное хозяйство вам нужно, прикиньте, подработайте смету, и главное, дорогой товарищ, не бойтесь портить отношения. Вот Рузаев утверждает, что новый завхоз ваш — опять ворюга. Гоните в толчки и, знаете ли, заходите, вы ведь и здоровее Рузаева, и моложе.

Рузаев сидел, отвалившись в кресле, поглаживая седые усы, посмеивался.

Николай Евгеньевич сменил двенадцать завхозов, тринадцатый был Демьян Васильевич Кузов — сапожник по профессии. Удивительный этот человек сразу понял молодого доктора и сказал ему спокойно и основательно:

— Это правильно. Ежели захотеть, вполне возможно горы своротить.

Забегая вперед, нельзя не вспомнить, что Демьян Васильевич Кузов в сорок первом году ушел воевать рядовым,

одним из первых ворвался в Берлин и вернулся с фронта полковником — Героем Советского Союза.

«Горы воротить» начали с того, что, получив, почему-то через систему Лен-одежды, три тысячи метров водопроводных труб, снабдили наконец водой Чудовскую больницу. Кто-то где-то получил выговор, кого-то куда-то вызывали для объяснений, но Кузов, хитро прищурившись, с видом волшебника, открывал кран и говорил Николаю Евгеньевичу:

— А водичка-то идет. Идет, Николай Евгеньевич. Безотказно. И чистая. Хлопнем по стаканчику.

«Хлопали» и расходились, очень довольные друг другом.

С канализацией дело обернулось сложнее.

Не было цемента.

Помог, если так можно выразиться, случай: на цементном заводе на рабочего с семиметровой высоты упала шестидесятипудовая чугунная балка. По-

началу Николай Евгеньевич думал, что пострадавшему придется ампутировать ноги. Но все обошлось: Слупский сделал вытяжение, перелил кровь. Директор цементного завода, мнящий себя знатоком медицины, удивился, почему не наложен гипс. И тут Николая Евгеньевича «осенило».

— Гипс! — воскликнул он, хитро поглядывая на директора. — А где его взять, этот гипс. Был бы хоть цемент, я бы его сменял на гипс.

— Да господи же, — ответил директор, — цемент подкинем. Сколько нужно?

— Да тонны три — меньше не обойдешься, — «с запросом» ответил Николай Евгеньевич.

Директор вздохнул с облегчением.

— Дам пять, только чтобы ты мне его на ноги поставил. Куда везти?

— А прямо на трубный завод, — сказал Николай Евгеньевич.

Директор посмотрел на доктора подозрительно, но цемент тем не менее на

трубный завод был завезен. Пострадавший ушел из больницы, как выразился Николай Евгеньевич, «своим ходом». Через месяц начали прокладывать канализацию.

Вокруг больницы, когда Слупский приехал, не было никакого даже самого слабенького забора. Здесь опять выручило то, что иначе чем «вдохновенное осенение» названо быть не может. В один тихий весенний вечер, когда расцвела уже черемуха, Николай Евгеньевич Слупский, одевшись поторжественнее, отправился к председателю местной церковной двадцатки и предложил ему «уступить» больнице великолепную чугунную ограду церковного парка. Председатель от такой наглости даже глаза выпучил. Но Николай Евгеньевич, будучи сыном священника и человеком осведомленным в церковных писаниях, оперируя цитатами из отцов церкви, со всей железной неопровержимостью доказал председателю, что даже «по христианству» ограда куда более нужна боль-

нице, нежели православной церкви. В этот вечер диспут не закончился. Еще дважды рассыпал Слупский перлы своего красноречия перед священниками Чудова и Чудовского района. Диспут доходил до весьма высоких нот. В конце концов Николай Евгеньевич дал попам понять, что все мы смертны и что может и им понадобится, скажем, ликвидировать аппендикс или там ущемленную грыжу. Все мы, как говорится, под богом ходим. Стоит ли портить отношения с больницей, в которой уже есть и водопровод и канализация, а не хватает только лишь одной ограды?

Попы сдались.

Когда ограду перевозили, ее попробовало отбить Управление железной дороги. Демьян Васильевич Кузов, совсем уже поправившийся Рузаев и главврач Слупский «свою» ограду железной дороге не отдали. Теперь навещающие больных не могли «из жалости» принести огурчика солененького, квашеной капусты, грибков, а то и самогонки. За

оградой разместились и подсобное хозяйство больницы: пятнадцать коров, семь лошадей, свинарник. Больные в Чудовской больнице получали молока сколько хотели. Для выздоравливающих забивались хорошего откорма свиньи. Появилось новое белье, посуда, няням и сестрам был дан приказ — ни одной (по сезону, разумеется) без цветов на работу не приходить. В эту же пору Слупский исследовал воду из артезианской скважины возле больницы: вода оказалась минеральной, радиоактивной, эта вода была проведена в больницу для лечения. Потихоньку писали донос за доносом уличенные и выгнанные в свое время «двенадцать апостолов» — двенадцать воров-завхозов, и даже цветочки в доносах фигурировали как «достигнутые путем вымогательства и устрашения лиц подчиненных категорий».

Но Слупский и Кузов посмеивались. Партийные организации, общественность, рабочий класс, население — все им помогали. Один Рузаев, загоревший и

окрепший после радикального удаления раковой опухоли, был куда сильнее любых доносчиков. Кстати сказать, этого Рузаева Николай Евгеньевич демонстрировал через двадцать лет после операции.

С каждой неделей, с каждым месяцем, делая в среднем по пять-шесть операций в день, рос Слупский как хирург. Еще в Обуховской больнице он смутно, но все же понимал, что узкая специализация в медицине ему лично только мешала, стесняла его, лишала, красиво выражаясь, подлинного размаха. Обычно одна клиника «сидит» на легких, другая на костях, третья — на печени, и уже эти обстоятельства не дают молодому врачу возможности широко и полно думать, самостоятельно решать те или иные проблемы, находить выход из любого сложнейшего положения, как приходится находить выход «деревенским» докторам.

Здесь — Слупский знал — от тяжелого случая не убежишь, консультантов не

позовешь, «к маме на ручки не спрячешься».

В эту пору Чудовская больница стала, ко всему прочему, еще и «ковать кадры». Дело заключалось в том, что врачебное пополнение, которое прибывало к Слупскому, обучалось в то время, когда недоброй памяти методические умники пришли к удивительнейшему заключению, смысл которого заключался в том, что всякие лекции студентам не только не нужны, но даже противопоказаны. Изобретен был «бригадный» метод, профессорам опрашивать студентов строго-настрого запретили, ибо всякие «опросы подавляют не только личность, но и коллектив», беседы же ассистентов было велено впредь именовать «микрорекциями». Рассказывали, что знаменитый Николай Нилович Бурденко в ту пору именовал ассистентов «микропрофессорами». Буйные методисты готовили даже проект радикального уничтожения аудиторий и перестройки их в некие загадочные «учебкомнаты». Разу-

меется, время это было необыкновенно легким для лодырей и мучительно трудным для тех, кто хотел учиться по-настоящему.

Вот эта молодежь, прибывая в Чудово, и слушала лекции «просто врача» — Слупского. Здесь же было выпущено более четырехсот медицинских сестер: Николай Евгеньевич и его молодые помощники учились сами и учили других.

Больница к 1935 году состояла из одиннадцати зданий.

Ночами Николай Евгеньевич проектировал план строительства кооперированным способом бассейна и пляжа для рабочих фарфорового, стекольного и цементного заводов. Пять гектаров полученной больницей земли были засажены садом. Тут же, в этом будущем саду, мечтал доктор Слупский построить бассейн с минеральной водой для тех рабочих, которые не могут ездить на юг. Здесь же предполагал он организовать и кварцевое облучение.

Однажды, когда садили в будущем саду саженцы, увидел Слупский лежащее на старом одеяле жалкое и глубоко несчастное существо. Сюда, на солнышко, вынесли погреться круглую сироту Валю Черникову. У несчастной девочки действовала только одна левая рука, обе ноги и правая рука были совершенно неподвижны. Николай Евгеньевич уложил Валю в больницу и за счет лопатки сделал ей анкилоз, то есть срастил плечевую кость с лопаткой. В результате этой операции Валя получила возможность двигать правой рукой. Затем Слупский сделал четыре операции на правой ноге, две на левой, и девочка пошла. В ту зиму директор цементного завода пригласил Валю к себе домой на елку. Слупскому директор тогда же сказал:

— Если еще цемент понадобится — не стесняйся, и вообще не стесняйся. Ты, конечно, меня тогда с гипсом обдурил, но я на тебя не в претензии. С нашим братом, директором, разумеется,

бывает туго. Завтра, если разрешишь, еще одну сироту к тебе доставлю, насколько я в медицине понимаю — а я кое-что в ней понимаю, — случай потяжелее Валиного...

Галю Шустикову принесли на носилках. Это была болезнь Литтлея, при которой в результате поражения спинного мозга развивается паралич ног.

После целого ряда операций Галя хоть и на костылях, но пошла. В день выписки в приемном покое Галю встретили две ласковые, тихие, приветливые монахини. По занятости своей Николай Евгеньевич не обратил на эту странность никакого внимания. Так началась история со знаменитым впоследствии «чудовским чудом». Мать Анастасия в ближайшее же время объявила по всему Чудову и по его окрестностям о том, что Галя Шустикова исцелена «глубокою верою, праведной жизнью, очищением страданием, а также некоей чудотворной иконой, складнем старого письма, который у нее имеется». Галю возили

на подводе по ближним Чудову деревенькам, мучили непрерывными истерическими церковными службами и довели до такого состояния, что в конце концов она вновь очутилась в больнице, доставленная туда каретой «скорой помощи».

В этот вечер у Николая Евгеньевича произошел крутой разговор с местным начальством. «Сведущий в медицине» директор цементного завода, слушая гневные рулады Слупского, конфузливо покашливал в кулак.

— Вы, конечно, человек добренький, — сказал тогда Николай Евгеньевич директору. — Привезли Галю и свалили ее ко мне. А подумать, каково сироте из больницы уходить, — это вам недосуг. Отдали хитрым монашенкам. Отдали победу советского здравоохранения, победу разума над болезнью, победу науки над несчастьем — кому? Черным этим воронам. Теперь церковники на год кашей с маслом обеспечены: как-никак, а было у них чудо, добились своего,

даже распивочно и на вынос это чудо демонстрировали. Они, церковники, народ хитрый, я их знаю, хорошо знаю, меня не проведешь, с юношеских нежных лет, как говорится, насмотрелся...

Местное начальство переглядывалось.

Этот гневный, шагающий по комнате рослый человек, с седеющими уже висками, с лицом русского мужика, с пронцательным, умным и открытым взглядом живых светлых глаз, ничем теперь не напоминал того молодого доктора, который, казалось, так недавно, робея, первый раз вошел в кабинет секретаря райкома.

— Вишь ты какой, — сказал секретарь, — вырос, ругатель, на нашу голову. Или, может, мы сами тебя такого вырастили? Как-то быстро больно...

А только что подвергнувшийся разносу директор цементного завода спросил:

— Послушай, Николай Евгеньевич, почему ты, собственно, не член партии? Я бы тебе рекомендацию дал охотно...

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

И бассейн с минеральной водой, и кварцевое облучение, и пляж для рабочих трех заводов — так и остались только в мечтах. Молодой сад затоптали сапоги гитлеровцев. Николай Евгеньевич натянул гимнастерку с двумя шпалами и чашей, со змеей на петлицах, получил, как положено военному служащему, денежный, продовольственный и вещевой аттестаты, личное оружие — коровинский пистолет, кирзовые сапоги (хромовые по неумению налаживать хорошие отношения с интендантами он так за всю войну, по его собственному выражению, «только видел»), приехал в Псков, все это снял и надолго облачился в тапочки и халат. С утра до ночи нестерпимо палило солнце, фашистские «фоккевульфы» и «юнкерсы» непрерывно сбрасывали бомбы. В духоте и зное, в черном стелющемся дыму, в едком запахе тринитриуола, совершенно без сна работали хирурги в те трагические дни. Бы-

вали случаи, когда в течение трех суток урвать на сон удавалось не более двух часов. Ложиться Слупский себе не позволял, спал сидя здесь же, в операционной, или в перевязочной, или в «закуточке» под лестницей. Там имелось старое зубоврачебное кресло, «удивительно, представляете ли себе, удобная штука, до войны никак я эти кресла не ценил...» Здесь же будила Слупского сестра, взяв за руку, как маленького, вела в операционную:

— Да проснитесь же, доктор, вы уже хорошо поспали, у меня все подготовлено, можете начинать.

Тут в огромной мере ежедневно, ежедневно помогала Слупскому чудовская выучка: для «деревенского» доктора в военно-полевой хирургии почти не было неожиданностей. «Деревенский» доктор знал человеческий организм в его удивительной совокупности, он не робел и не пугался того, чего, — к сожалению, случалось, — и робели и пугались успешшие стать узкими специалистами врачи.

Уже тогда Николай Евгеньевич начал настаивать на методе иссечения гранулирующих ран. Этот метод ускоряет заживление с полутора и двух месяцев до десяти дней. В своем закутке, при свете свечи, пристроившись на зубоврачебном кресле, Слупский писал об этом методе, как о чрезвычайно важном, в санитарное управление. В это же время Николай Евгеньевич настойчиво и кропотливо работал над сохранностью конечностей.

Лейтенанта Иоселевича ранили в руку. Рука повисла только на пучке сосудов и кожи. В приемном покое Иоселевичу бодро предложили сделать ампутацию. Лейтенант согласился.

— Так дело не пойдет, — сказал Слупский.

Он удалил загрязненные края раны, оставил кость и сохранил руку. Иоселевич выздоровел и сказал Николаю Евгеньевичу:

— Знаете, товарищ военврач, никогда я раньше не думал, что рука такая нуж-

ная в хозяйстве вещь. Молодец вы, честное слово!

«Молодец» в течение всей войны никому ни разу ни одной руки не ампутировал, за исключением случаев отморожения и омертвения, делал только некротомию, то есть удаление мертвых участков.

Из Пскова Слупского перевели в Бабаево, в госпиталь, размещенный в школе возле вокзала. Станция Бабаево связывала блокированный Ленинград «линией жизни» со страной. Бабаевский вокзал фашисты бомбили нещадно, пытаясь во что бы то ни стало перерезать «линию жизни». Псков вспоминался здесь как курорт.

Однажды в солнечное морозное утро на операционный стол Слупскому положили солдата Воробьева. У солдата было темное лицо, Слупский понял, что это сердечная тампонада, и приступил к операции на сердце. Он убрал сгустки крови, и вот в это самое мгновение возле госпиталя разорвалась бомба.

Крупный осколок вонзился в голень хирурга. Понимая, что ранен, Слупский велел наложить себе жгут. Обе ноги его были залиты кровью. Растерявшаяся сестра наложила жгут на здоровую ногу. Сердце Воробьева билось в руках хирурга. Сцепив зубы до того, что заломило челюсти, Николай Евгеньевич закончил операцию, зашил рану и, чувствуя, что теряет сознание, сел на пол в перекошенной взрывом операционной. Кряхтя и ругаясь, он сам удалил засевший в голени осколок, выпил поильник воды, велел перенести себя на табуретку и занялся новым транспортом раненых. Фашистский летчик на бреющем полете обстрелял грузовик с эвакуированными из Ленинграда женщинами и детьми. Перед раненым доктором ставили носилки. Он смотрел и говорил, что надо делать. Одного из ребят в этот день, сидя на табуретке, он все-таки прооперировал сам. Где он сейчас, этот Петя Голощекин, родившийся в Костро-

ме в 1933 году и спасенный на станции Бабаево Николаем Евгеньевичем Слупским?

Откликнитесь, Петя Голощекин!

В Вологде доктор Слупский на большом материале сделал доклад по лечению гранулирующих ран. Председательствующий на заседании профессор усталым голосом сказал, что этот способ давным-давно предложен французом, мосье Ламетром. Николай Евгеньевич выразил удивление по поводу того, что ни в одном нашем учебнике об этом методе не сказано ни слова. Председательствующий профессор раздражился: не понравился ему хромой, мужиковатый и напористый «деревенский» доктор, смеющийся «свое суждение иметь». И тон Слупского ему не понравился. Так приобрел Николай Евгеньевич еще одного недоброжелателя. В этом смысле, как он сам выражается про себя, у него «все обстоит весьма благополучно».

В Вологде внимание Слупского привлекли вторичные кровотечения под гипсовой повязкой. Внимательные наблюдения показали, что сосуды, разъедаемые инфекцией, под гипсовыми повязками давали вторичное кровотечение, в результате которого, когда такой человек попадал в перевязочную, где ему снимали гипс, он погибал. Слупский предложил тесьму, которая накладывалась на тело под гипсовую повязку. Концы тесьмы выводились наружу, и к ним привязывалась палочка-закруточка. При помощи этой палочки либо сам раненый, либо его сосед, как следует проинструктированный, могли еще до прихода сестры или врача остановить кровотечение. Палочку эту прозвали «палочкой-выручалочкой», и многим людям она спасла жизнь.

На войне Слупский непрерывно сражался за сохранение верхних конечностей. Это была нелегкая борьба. Воевать приходилось и с некоторыми инструкциями, и, что гораздо существен-

нее, — с авторитетами, эти инструкции подписавшими.

Но эту маленькую войну Слупский выиграл. Слишком разительны были цифры: если в РЭПе было 13 процентов ампутаций, то Слупский довел их до 0,02. Великолепные хирурги Джанелидзе и Куприянов поддержали Слупского. Николай Евгеньевич, назначенный главным хирургом госпиталей Вологодской области, поддержанный двумя подлинными учеными, запретил кому-либо ампутировать руки до его вызова, приезжал, сам делал операцию и ходом ее и рассуждениями доказывал, что руку можно сохранить.

Такую же борьбу повел Слупский и за сохранение нижних конечностей. Если в инструкции было указано, что при резекции бедренной кости свыше семи сантиметров необходимо ампутировать ногу, дабы не было бы болтающихся суставов, военврач Слупский резецировал значительно больше, но сшивал кости и таким образом сразу

восстанавливал целостность ноги. Он допускал резекцию до 10—12 и, в двух случаях, до 19 сантиметров. Никто из оперируемых не умер, но, благодаря нарушению Слупским инструкции, ему удалось сохранить ноги десяткам и сотням людей.

Одним из существенных вопросов во время войны была проблема лечения мягких тканей, потому что с разных фронтов присылали множество раненых именно с такими ранениями. И в этой области «деревенский» доктор Слупский добился очень многого. Назначение Слупского главным хирургом Седьмой армии Юстин Юлианович Джанелидзе «притормозил». Он настоял на том, чтобы Слупский, оставшись в Вологде, со всей присущей ему энергией занялся лечением мягких тканей и сохранением верхних и нижних конечностей.

Холодным весенним вологодским вечером, никому не известный «деревенский» доктор Слупский и знаменитый профессор Джанелидзе пошли прогу-

ляться. Юстин Юлианович сказал Слупскому:

— Вот что, батенька. Оно, конечно, все правильно: работаете вы много, успешно и... работаете, в общем, так, как надлежит это делать человеку, если он человек. Но ведь вы уже не мальчик. Юность, как говорится, давно миновала. Да и за зрелостью дело не станет. Для диссертации у вас тем сколько угодно. И наблюдения у вас богатейшие, и материал собран немалый. Пора, батенька, подумайте.

Слупский ответил невесело:

— Некогда, Юстин Юлианович.

И тут погожим этим весенним вечером «деревенский» доктор высказал вдруг профессору Джанелидзе одну из затаеннейших своих мыслей:

— Вы только представьте себе: сижу я и пишу диссертацию. А в это время привезли мальчика, ну, лет двадцати. Привезли и по неопытной скоропалительности взяли да и погубили. А он, знаете ли, возьми и окажись в по-

следствии Ломоносовым. Как же мне тогда доживать?

— Вздор! Мистика! Чепуха! — рассердился Джанелидзе.

Слупский, робея, постарался оправдаться:

— Да ведь, с другой стороны, товарищ генерал, я ведь все, что считаю нужным, — все свои наблюдения и, так сказать, открытия — публикую. Но коротко у меня получается. Страничка, пол-странички. Иначе как-то совестно: война, людям некогда, а нашему брату хирургу дело нужно, конкретное и ясное. Вот позвольте привести пример: сами знаете, как у нас тяжело с марлей, до того тяжело, что не имеем мы подчас возможности наложить гипсовую повязку. Вот и подумалось мне: ведь делают же из соломы шляпы, портсигары, туфли-шлепанцы, а также строят из глины и соломы мазанки, то есть целые здания, так вот не взять ли мне солому и гипс?

Джанелидзе остановился:

— Ах вы, моя умница! — воскликнул он. — Милый вы человек. Ну и дальше?

— А дальше вот как все пошло. Сделал я пяльцы, принесли мне куль соломы, нашел я себе в помощь солдатушек, бравых ребятушек-умельцев, протянули мы в пяльцы ниточки и соорудили метровый лангет шириной в двенадцать сантиметров. Этот соломенный лангет опустили мы в горячую воду, а затем все просто — лангет мягкий, фаршируем мы его гипсовой кашей. Таким образом вместо двенадцати слоев марли у меня идет только два, и если, скажем, для повязки на бедро нужно восемь метров, мне полтора хватало.

— Так это же грандиозно! — сказал Джанелидзе.

— Я знаю, что это недурно, — сказал Слупский, — но тут один профессорчик приезжал, так вы знаете, как он выразился? Он выразился в том смысле, что

я Гитлера поддерживаю своими клеветническими утверждениями по поводу того, что у нас нет марли. Он мне под страхом штрафной роты воспретил этим заниматься и даже не постыдился на меня ногами топать. Так что мы это, разумеется, делаем, но только тайно, в кабинете комиссара. И солому туда таскаем по ночам.

Джанелидзе сказал отдельно и внятно:

— С огромным удовольствием, дорогой друг Николай Евгеньевич, я этому вашему профессорчику откручу голову напрочь, хоть и не являюсь поклонником смертной казни. Немедленно напишите про эти ваши лангетки в «Вестник хирургии»!

Слупский про эти «свои лангетки» в «Вестник хирургии» написал. Однако «профессорчик» оказался живучим. Необходимейшую заметочку напечатали лишь в 1944 году.

А разговор о диссертации так, в сущности, ничем и не кончился. В эту пору

Николаю Евгеньевичу приходилось делать до сорока операций в день. Он не только сам оперировал, но и учил, как надо оперировать. Для диссертации же необходимо было сдавать еще и обязательные предметы, — скажем, философию. Слупскому же, говоря по совести, было не до философии. По самым скромным подсчетам, «деревенский» доктор Слупский прооперировал за годы войны более восьми тысяч человек, зашивал сердца, оперировал на легких. И всего этого ему было мало. Он искал, изобретал непрестанно, изо дня в день, по принципу, который сам метко и точно сформулировал:

— Из наличия, понимаете ли, дорогие товарищи? Вербочка, солома, старое бельишко, проволочка— солдату все пригодится. От вышестоящего начальства требовать дело не хитрое, а ты, ну-тко, сам умишком раскинь.

Изобретал, придумывал и показывал всем, — свойство истинно талантливого

человека — скорее отдать другим все, что придумал сам. Не для себя же, черт возьми, придумано — для раненых. Поэтому нужно, чтобы все узнали, чтобы немедленно практически ознакомились. Вот и остался список практических предложений, однако короткие практические предложения эти куда дороже иных ученейших сочинений, пылящихся и по сей день на полках за соответствующими номерами...

Во всяком случае, сотни людей выжили после тяжелых ранений благодаря именно этим практическим предложениям практического врача, и, может быть, это обстоятельство не такое уж маловажное, когда речь идет о профессии хирурга. Кстати, в данном случае речь идет не только о Н. Е. Слупском. Думается нам, что таких врачей, как Николай Евгеньевич, на нашей Родине очень много и таких практических предложений, как у Слупского, — не одна тысяча.

Где все эти предложения? Кто ими занимается?

В застиранной порыжевшей гимнастерке, в сбитых кирзовых сапогах, тяжело хромя, вернулся в октябре 1945 года Николай Евгеньевич в Чудово. Ничего здесь не осталось от той больницы, которую с такими трудами возводил он много лет назад. Невесело оглядывая пепелище, посидел Слупский на фундаменте, ножом вскрыл банку консервов, поел их с солдатским хлебом, запил водой из фляжки и поехал в Ленинград за назначением.

В вагоне настроение Николая Евгеньевича быстро исправилось.

К нему подошел молодой человек, назвал свою фамилию, осведомился, не военврачом ли Слупским разговаривает. Николай Евгеньевич кивнул.

— Я врач, — сказал молодой человек. — Был довольно серьезно ранен. Вы мне вашим гипсом с соломой спасли ногу. До самой Читы доехал, и, как видите, сейчас хоть танцуй.

Здесь же, в вагоне, военврач Слупский осмотрел ногу военврачу Кузовлеву, потом, посмеиваясь, вспомнил, как нелегко доставалась «вышеупомянутая» солома: выюжными зимними ночами ездил тогда Николай Евгеньевич с солдатами по колхозам. Бабам-председательницам разъяснял научно, для чего нужна солома. Вздыхали председательницы, но никто в соломе не отказал, тем более что Слупский на ходу кое-кого из больных посмотрел и полечил и даже гнойник вскрыл деду-пасечнику. И трудные роды в одну из таких ночей тоже требовали вмешательства Николая Евгеньевича...

В Ленинграде Слупского назначили главным врачом Сестрорецкой городской больницы.

В здание больницы было шесть прямых попаданий. Из имущества главный врач принял двадцать искореженных коек, три пинцета и четыре шприца.

Так начал Николай Евгеньевич «мирную» жизнь.

И ВСЯ-ТО НАША ЖИЗНЬ ЕСТЬ БОРЬБА...

И неполадки в «Дружной Горке», и чудовские трудности, и даже дни войны теперь, в Сестроречке, показались Николаю Евгеньевичу не такими уж тяжелыми по сравнению с тем, какая работа предстояла здесь: городу требовалась больница немедленно, сейчас же, буквально завтра, а рабочей силы для восстановления здания никто не давал, квалифицированных мастеров не было ни единого, в строительных материалах Слупскому отказывали, и дело восстановления больницы или совсем не двигалось, или двигалось черепашьими темпами.

Неподалеку от разбитой больницы был расположен лагерь военнопленных немцев. Однажды Слупского пригласили туда. Умирал юноша, студент Боннского университета, филолог, с внутренней грыжей, ущемленной в диафрагме, а профессор, полковник-немец, владелец хирургической клиники в Берлине, ле-

чил солдата от плеврита. Николай Евгеньевич сразу же заметил, что студента рвет, а «живота нет» совершенно. Следовательно, все перекачивается наверх. Обнаружил Слупский и маленький рубец сзади. Было ранение, диафрагму не заметили, кожу зашили. У студента в грудной полости был расположен весь желудок. Такие аномалии случаются, но чрезвычайно редко. Вот там в груди что-то плещет, а профессор-полковник, согласно своей аккуратнейшей науке, и решил — плеврит.

Тут произошел примечательный разговор. Студент, солдат-тотальник, совсем еще юноша, с бледной улыбкой сказал Слупскому:

— Я имел смелость объяснить господину полковнику, что у меня желудок расположен в грудной полости. Но господин профессор разъяснил мне, что если я призван в армию, то такой аномалии быть не может. Я имел смелость опять-таки заверить профессора, что такая аномалия имеет место и что меня,

в сущности, медицинская комиссия и не осматривала: язык, пульс, — и «иди, защищай отечество», однако же господин полковник-профессор аномалии у меня не обнаружил.

Слупский невесело усмехнулся. В этот же день он прооперировал студента. Ассистентом был профессор-полковник. Увидев своими глазами, что прав русский доктор, профессор сказал:

— Это так, но это не может быть!

Боннский филолог поправился, и добрая слава о хромом русском докторе загремела среди военнопленных. Отошла в прошлое, канула в Лету проклятая война. Кому охота умирать теперь из почтительности к бездарному профессору, бывшему полковнику медицинской службы вермахта? Да пошел он к черту, этот спесивый медицинский чиновник, и по сей день вспоминающий свои железные кресты и прочие металлические побрякушки, украшенные ненавистной всему человечеству свастикой. И да здравствует немногословный,

хромой русский доктор, на которого можно положиться в беде!

Так стал Слупский почти ежедневным посетителем лагеря военнопленных. Солдаты разгромленных войск Гитлера не по уставу, а от души становились по стойке «смирно», издалека завидев опирающегося на палку, в застиранной гимнастерке, сидящего русского доктора. Они знали — это жизнь. Если он пришел — все будет благополучно, все кончится хорошо. Он думает не догмами, этот громадный русский доктор с лицом крестьянина, с неторопливыми уверенными движениями, с внимательным спокойным взглядом. Он думает — с а м. Он и есть — Ж и з н ь.

Однажды в тихий летний вечер Николай Евгеньевич попросил лагерное начальство «собрать собрание военнопленных, но только, пожалуйста, как говорится, чтобы побольше из рабочего класса. А этих самых эсэсовцев и гестаповцев — не надо».

Собрание собрали.

Солдаты — паропроводчики, штукатуры, монтеры, арматурщики, водопроводчики, — услышав, что их созывает русский доктор, прибежали бегом. Слупский сказал речь на своем нижегородско-немецком языке.

Речь была грустная, исполненная правды, прямая и грубоватая.

— Вот наша больница, — сказал Николай Евгеньевич. — В нее много попаданий. Это вы, черт бы вас побрал, стреляли и бомбили. Теперь мне моих больных класть некуда. И какую же мы наблюдаем картину? Вот, как говорится, у вас в лагере есть больница, а у нас в Сестрорецке нет. Это — справедливо? По-моему, несправедливо. И вы, братцы, должны помочь.

Слово «братцы» вырвалось у Слупского нечаянно, но говорил он сейчас не с солдатами чудовищной гитлеровской армии, а с рабочими, с которыми иначе он говорить не умел.

— И меня вы, черт бы вас побрал, тоже подранили, хожу — хромаю, — уже

рассердившись, сказал он. — Однако же по всем вашим вызовам являюсь. Безотказно являюсь. Но теперь решил твердо...

Тут он долго молчал, немцы испуганно застыли, пауза эта была рассчитанной.

— Являться буду, но на основе, как говорится, взаимной выгоды. Я вас и лечу, и оперирую, и после операций — вытаскиваю. Все, кто у меня лечился, живы и здоровы. Так давайте же, ребята, помогите мне отремонтировать больницу, потому что тех русских, которые бы могли мне это делать, вы, под водительством вашего чертова фюрера, убили. Отберите лучших из лучших — портачей и халтурщиков мне не нужно. Вот таким путем: вы мне больницу, а я вам здоровьишко, оно, как говорится, тоже на полу не валяется.

Русский врач ушел, немцы шумно стали выбирать самых лучших, наиболее квалифицированных специалистов, которые бы не ударили в грязь лицом.

Эти специалисты провели водопровод, поставили цоколь, ограду, и в основном восстановили больницу.

И больница открылась. Здесь, как и в Чудове, стоит теперь церковная ограда — Николай Евгеньевич не без гордости считает себя специалистом по «доставанию» таких оград.

— Хорошо сделано! Прочно! И главное — здесь ей самое место...

Теперь в больнице двести коек.

После войны сюда поехали больные и из Западной Белоруссии и из Тбилиси, из Рязани и из Луганска, из Архангельска и Новосибирска, из Москвы и из Киева. К Слупскому ехали раковые больные, ехали инвалиды Отечественной войны с кишечными свищами, ехали и едут больные с так называемой самопроизвольной гангреной.

В чем же дело?

Чем так привлекает тяжело больных ныне заслуженный врач Республики Николай Евгеньевич Слупский? Внушает ли он своим больным какие-либо

чаяния, которым не суждено сбыться? «Добренький» ли он? «Ласковенький»? «Утешитель»? Нет. Николай Евгеньевич резок, прям, иногда в пользу больных грубоват. Старухе, прибывшей с направлением, в котором было написано, что у нее рак, некий доброхот разъяснил латынь. Старуха тяжело рыдала, а Николай Евгеньевич, осмотрев ее, произнес резко:

— У тебя, мамаша, не рак, а дурак! Меня переживешь!

И старуха поверила мгновенно. И верит до сих пор, что никакого рака у нее не было. А был. И Николай Евгеньевич долго и трудно боролся за ее жизнь, поучительно почему-то приговаривая:

— Было б тебе, мамаша, столько квашеной капусты не есть.

И по сей день старуха верит и легенде о капусте, и тому, что у не «не рак, а дурак». Верит простоте Николая Евгеньевича, прекрасной русской грубоватости, за которой как бы прячется,

стыдливо скрывается сердечная доброта этого замечательного человека.

К Слупскому привезли тяжело больную женщину. От этой больной отказались решительно все лечебные учреждения Ленинграда. Но, вопреки указанию райздрава, Слупский больную положил к себе. Он положил ее, почти наверняка зная, что исход будет трагическим, положил, искупая вину проглядевших тяжелейшую болезнь, положил, надеясь на то, что не раз происходило в его жизни, когда клал он на операционный стол больного, допустим с диагнозом саркома, а оказывалась вовсе не саркома. Или не оперировал он, Слупский, людей по поводу рака в третьей и четвертой стадиях, которых «не рекомендовано инструкцией» оперировать? Оперировал, и с удачайшим отдаленным результатом. Чудес здесь никаких нет, он только внимательный, серьезный и думающий хирург, и слава о его чудесах — слава человека, сильно и страстно преданного своему делу, не перестра-

ховщика, но война в борьбе со смертью.

Больная, о которой идет речь, погибла. Близкие же ее родственники и по сей день говорят о Слупском как об удивительнейшем враче, сражавшемся за жизнь больной до последнего, всеми доступными средствами...

В Сестрорецкой больнице Слупский не раз и не два оперировал больных, которые были выписаны из онкологического института со справками, что они неоперабельны. Обреченные на смерть люди живут десять, двенадцать, четырнадцать лет после того, как их прооперировал Слупский. А некоторые ученые мужи ничего другого на демонстрациях Николаем Евгеньевичем своих больных, как «это случай самоизлечения», — сказать не могут!

Может быть, поэтому у Слупского не очень благополучно сложились отношения с некоторыми товарищами из медицинского начальства. Как это ни странно, то обстоятельство, что, сра-

жаясь с неумолимо наступающей смертью, он рискует «репутацией медицины», вызывает раздражение, порою изливающееся в виде самых оскорбительных и несправедливых приказов.

Дело в том, что в хирургическом отделении больницы Слупского смертность выше, чем во многих других хирургических отделениях больниц. Выглядит неприятно. А по сути все тут чрезвычайно просто: Слупский кладет в свою больницу людей, от которых отказались другие больницы.

В райздраве возмущаются:

— Почему вы приняли колхозника Р., проживающего не в данном районе? Почему вы отдали распоряжение уложить тяжело больного К. в стационар, минуя руководство райздрава? Почему нет направления, где соответствующая резолюция? Вот пришло благодарственное письмо из Ташкента, — а почему вы оперировали жителя Ташкента? Что вы за этакий знаменитый профессор? В Ташкенте своих врачей нет, что ли? А если

бы этот ташкентский житель у вас умер, он статистику бы кому испортил — Ташкенту или нам?

Сжав челюсти, сердито поблескивая глазами, Слупский отвечает заведующей райздравом. Отвечает, объясняет, растолковывает.

— Из Ташкента приезжал ко мне человек — бульдозерист, брата его я в Вологде поставил на ноги. Колхозник Р. кормит нас и поит. Мы едим колхозную картошку, пьем молоко колхозных коров. Приехал мужик в гости к родным, заболел. Как же я могу его не уложить? Да и что, в конце концов, — вдруг взрывается он, — я Остина Чемберлена или Рокфеллера взялся лечить?

Тут все непонятно: непонятно, почему на седьмом десятке лет жизни такой хирург, как Слупский, должен давать по такому элементарному случаю объяснения начальнику райздрава Третьяковой, непонятна боязнь правды в статистике, как, впрочем, не только непо-

няты, но и не соответствуют нормам нашего государственного устройства некоторые инструкции, «не рекомендуемые» пытаться спасти человека, если существует хоть какая-то надежда к возвращению в жизнь.

У Слупского теперь есть то прошлое, тот великолепный опыт, та мудрая уверенность в своих силах, которые дают право «ломать», «рушить», «портить» прогнившие каноны, ломать на благо тем людям, с которыми бок о бок прошла вся жизнь Слупского, с которыми он работал, у которых учился и которых учил, с которыми рядом воевал, которых он знает и поистине глубоко и сильно любит.

Приказы и, как говорилось в старину, «выражения неудовольствия» некоторыми чиновниками здравоохранения не слишком огорчают Николая Евгеньевича. С юных лет привыкнув «вмешиваться», Слупский таким же и остался на седьмом десятке. Посмеиваясь, он говорит:

— Ничего! Мы гражданскую выдюжили, мы Гитлеру хребет сломали, мы вот с семилеткой управляемся, ужели это нам страшно? Только работать мешают, черт дери, — оперируешь, а в это время всякая дрянь в голову лезет насчет каверзных запросов и насчет того, как сформулировать ответ. Нехорошо! Впрочем, меня еще в Чудове Рузаев утешал: если что, животы защитят. Я в свои животы до чрезвычайности верю. Будучи помоложе, любил в баню сходить. Придешь, моешься и, как говорится, поглядываешь: вот это мой живот, я его оперировал, этот мальчонка тоже мой животишко, а у этого рука моя, с дерева свернулся; бывает, и ногу встретишь, и лопатку, и бедро, человеческий организм разнообразен. Но больше, как говорится, животы. Народ в Чудове преимущественно рабочий, жили патриархально: как здоровье дедушки, как супруга, — в общем, обо всем побеседуем. Тут же на досуге, благо все наги и босы, яко адамы, — погляжу челове-

ка, шов пощупаю, и попаримся в заключение вместе. Прав, конечно, Рузаев: возвратишься домой — и настроение прекрасное.

И посейчас уже немолодой Слупский во все решительно «вмешивается», до всего ему есть дело.

Вот в дверь просовывается голова с лихим чубом:

— Вызывали, Николай Евгеньевич?

Голос чуть нагловатый, но и не без примеси искательности.

— Вызывал. Садись, Валентин.

Валентину лет двадцать пять. Слупский угрюмо на него смотрит. Быть разносу. Валентин шныряет по сторонам глазами.

— Ты, парень, как говорится, зарабатываешь поболее тысячи двухсот, — холодно начинает Слупский. — А женке даже апельсинчика не принес, хотя в городе их завал и все другие роженицы по апельсину получили. Не обидно Анне? Жена тебе дочку родила, стара-

лась, можно сказать, а ты что? Напил-ся? Всего и радости...

— Так ведь такое дело, Николай Евгеньевич: дочка.

— Дочка! Рожала Анна не легко, разрывы у нее были...

— Разрывы? — пугается Валентин.

— А ты думаешь, родить — это пустяки. Вон год назад ты пальчик поранил — так какой вой на всю больницу был. И чуб состриги, смотреть противно. Отправляйся, и чтобы нынче же апельсины были. Я проверю.

Валентин, пятясь, уходит, а Николай Евгеньевич долго кого-то уговаривает по телефону по поводу того, что именно этому самому Валентину, который только что был подвергнут жесточайшему разносу и за апельсин, и за палец, и даже за чуб, давно пора дать ордер на комнату, «ведь не может же, как говорится, рабочий человек и с женой и с ребенком продолжать жить у тещи». В голосе Николая Евгеньевича появляются металлические нотки...

Затем он набирает другой телефонный номер и советует хитренько:

— Вы у него, дорогой мой, просите. Не требуйте, а именно просите, да пожалостней. Вы просите для больницы, для беспомощных, страждущих и немощных. Он человек добрый, его разберет. Его до слез нужно довести и, разумеется, намекнуть, что все мы смертны и что без больницы никому не обойтись. И не уходите, покуда не подпишет. Запомнили? На жалость и измором!

Операционный день кончился, скоро обед. Дверь в маленький кабинетик главного врача полуоткрыта, как бы объясняя, что доступ к Николаю Евгеньевичу совершенно свободен. Изредка входят врачи, сестры, родственники больных. Всего час тому назад Слупский прооперировал ребенка, которому от роду было всего только сорок пять минут. За время операции дитя прожило две своих жизни и было спасено вот этими огромными руками, спокойно отдыхающими сейчас на столе. Сам

Слупский откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Вся его поза выражает полный отдых, в сущности, это почти сон. «Отдых на работе» — грековская выучка. Николай Евгеньевич умеет использовать любую минуту для того, чтобы привести себя, как он выражается, в состояние «юношеской бодрости».

Но по мере того как на лестнице все громче слышны шаги нянечек, несущих подносы с обедами, состояние абсолютного покоя уступает состоянию, которое можно определить, только вспомнив картинку из детской книжки — «Тигр, подстерегающий добычу».

Прекрасные, огромные руки, сделавшие за свою жизнь столько добра, спокойны, но сейчас Слупский обопрется на них, поднимется и «перекроет» на мгновение путь обеду для больных. Неизвестно, когда это произойдет, — сию секунду, или значительно позже, или через пять минут.

Но это непременно произойдет.

И это происходит.

Здесь главврачу не приносят специальную пробу. Он сам, своей рукой, выхватывает тарелку на ходу с фанерного подноса. Здесь для главврача не наливают «погуще», или «пожирнее», или, как еще, к сожалению, в некоторых местах делается, из отдельной особой кастрюльки. Возможно, и налили бы, да вот с этим «вмешивающимся» доктором не пройдет. И не проходило никогда — ни в военное, ни в мирное время, ни здесь, ни в Чудове, ни на «Дружной Горке».

С обедом нынче, кажется, все благополучно. Еще два вызова в перевязочную, короткий визит в третью палату, и Николай Евгеньевич снимает халат. Рабочий день кончился, но будет еще рабочий вечер, потому что и вечером Слупский непременно бывает в своей больнице, как бывает и по воскресеньям и по всем праздникам.

— Ход болезни, как говорится, — рассуждает Слупский, — с выходными и прочими не считается. Всякие камуфле-

ты бывают, виражи и завихрения. В нашем ремесле всегда нужно ухо остро держать.

Не торопясь, прихрамывая, идет Слупский поглядеть, каково на строительстве. Ведь в Сестроречке строится новая, большая, прекрасная больница. Светло, тихо, тепло. Встречные снимают шапки.

— Здравствуйте, Николай Евгеньевич.

— Здравствуйте, дядя Коля.

— Добрый день, доктор.

— Здравствуйте, товарищ Слупский.

— Здравствуйте, товарищ доктор...

На постройке старый паропроводчик испуганно и недоуменно говорит Слупскому, указывая куда-то вдаль:

— Вон пошел!

— Кто пошел?

— Да новый главврач! На новую ж больницу назначили! Целый день тут знакомился: я, говорит, ваш, говорит, главный, говорит, врач.

Слупский старается улыбнуться, но это не так просто. Своим домашним он ничего не рассказывает: не любит, чтобы его жалели. А вечером как ни в чем не бывало идет в больницу, моет руки: привезли ребенка в тяжелом состоянии. Детей он всегда оперирует только сам. Верные друзья и помощники — Лидия Петровна Понявина, великолепные операционные сестры Вера Михайловна Цурикова и Вера Николаевна Малинина — поглядывают на Николая Евгеньевича немножко испуганно: знает или не знает?

Труднейшая операция продолжается более двух часов. После операции у себя в кабинетике Николай Евгеньевич на клочке бумаги рисует чертежик, как «рекордовскую» иглу для шприца превратить в универсальную иглу для переливания крови. Эту «штуковину» он придумал сегодня, и эта придумка помогла ему не размышлять лишнее об учиненном с ним непонятном и отвратительном поступке.

Бессонной ночью старый доктор-коммунист Николай Евгеньевич Слупский вспоминает глуховатый голос своего учителя Ивана Ивановича Грекова.

«За больных дерись, дерись смертно, на увечья, которые в этой драке получишь, внимания не обращай. А впрочем, этими увечьями и похвастаться можно. Дураки и завистники, ничтоже-ства и чиновники помирают, а народ вечен, ему и определился ты служить. Так служи».

...Утром почтальон принес письмо. В конверте было стихотворение. Подпись Николай Евгеньевич так разобрать и не смог. Но удивительный «титул» перед подписью был таков: «бывшая язва двенадцатиперстной кишки».

А вот и само стихотворение:

Николай Евгеньевич Незабвенный,
Он главврач, хирург примерный,
Громкой славой одаренный.
К нему приходят все калеки
С болью тяжкого недуга,
А уходят человеки,
В нем узрев со счастьем друга!

Шлем ему привет мужчины,
Старики и детвора
За его прославленные дела,
Да пусть живет он много лет,
Кричите все ему ура!

В великолепном настроении отправился Николай Евгеньевич в свою больницу. Старик Рузаев был прав:ivotы — они защитят. И если не формально, то по существу. А то, что жизнь есть всегда борьба, — это Слупский знал с юности. И оперируя в этот день очередную язву желудка, вдруг улыбнулся и произнес загадочную для ассистентов фразу:

— Ах вы, язвы мои, язвы!

О ПОЛЕЗНОЙ ЖИЗНИ

Как-то Слупский сказал с характерным смешком:

— В старопрежние времена на могильных плитах толковых лекарей выбивались надписи: «А полезной же жизни ему было всего семьдесят один год».

Полезной. А полезная — она непременно, как говорится, рискованная. Впрочем, вовсе уж я не такой рискованный, как обо мне предполагают. Я больше внимательный, значит, можно сформулировать и так: а внимательной жизни ему было столько-то и столько-то... Вот небезынтересный случай и «документация» к нему.

...Более двух лет тому назад Таисия Григорьевна Хатнюк, мать двух девочек и мужняя жена, обратилась во вторую поликлинику города Южно-Сахалинска с жалобами. Как сказано в истории болезни, здесь поначалу «патологии не обнаружили», а несколько позже оную обнаружив, отправили Хатнюк в город Хабаровск на консультацию к доценту С. (Называть полностью фамилию доцента смысла не имеет, так как он в письме к Слупскому полностью покался и, надо надеяться, извлек из всей этой трагической истории выводы для всей своей последующей жизни.) Впав, по-видимому, в то состояние, которое

наш великий хирург Николай Иванович Пирогов именовал «диагностическим разжем», да к тому же будучи еще и обременен многими другими «нагрузками» и располагая весьма скудным запасом времени для консультации, доцент С. свои фантазии облек в форму приговора, обжалованию не подлежащего: «паранальная карцинома», — написал С. «Опухоль радикально неудаима». И посему «больной показана операция наложения противоестественного ануса». Ну, разумеется, «рентгенотерапия», «прогрессирующий распад опухоли» и все такое прочее, из чего и малограмотному человеку ясно, какие у него веселые перспективы.

Выправив казенную бумагу, подписав ее и скрепив подпись печатью, заключение, сфантазированное консультантом С., вопреки всем правилам элементарного человеколюбия, выдали на руки Таисии Хатнюк для представления по месту прописки. Здесь, разумеется, рекомендованную не кем-нибудь, а доцентом-

консультантом операцию нимало не сомняшеся мгновенно осуществили, — сработал непостижимый гипноз научного титула С.

Тут, вероятно, начисто забыли гениальные слова Герцена, которые никогда и никому не должно забывать.

Впрочем, южно-сахалинские эскулапы, судя по дальнейшему ходу событий, вряд ли Герцена читали. А слова эти вот какие: «Диплом чрезвычайно препятствует развитию, диплом свидетельствует, что дело кончено, «консоматум эст» — носитель совершил науку, знает ее».

«Совершивший науку», «знающий ее» С. своим поступком дискредитировал свое ученое звание. Позже дискредитировал он себя и как человек, так как ни тогда, когда давал свое заключение, ни после того как Хатнюк была прооперирована, не поинтересовался по-человечески, как же там некая Хатнюк? Наверное, и здесь помешала нелепая и смешная в нашем советском обществе

чванливость. Или, быть может, пресловутое — «вас много, а я один»?

Короче говоря, операция была сделана, но так ужасающе грубо, так самоуверенно халтурно, так ученически беспомощно, что Таисия Хатнюк, по ее собственным словам, «совсем уже совершенно перестала чувствовать себя человеком, а сделалась хуже животного».

Желая всякого счастья пострадавшей женщине, невозможно хоть в самомалейшей мере описать те невыносимые мучения, которые испытывала Хатнюк после, по выражению Пирогова, «эскулаповых резвостей» южно-сахалинских хирургов. Они и впоследствии, несмотря на все к тому основания, если даже полагаться на ими самими написанную историю болезни Хатнюк, ни на одно мгновение не усомнились в правильности своих действий и ни о чем не известили славного своего хабаровского доцента.

Из истории болезни совершенно ясно, что опухоль «не прощупывается» и че-

рез много времени после операции, однако мужу Хатнюк в больнице присоветовали «искать себе другую жену, так как Таисия долго не протянет, зачем же с молодости бобылем оставаться?»

«Бобыль» другую жену себе искать не стал, но энергично принялся писать в самые разные инстанции со слезной просьбой принять несчастную женщину в какую-либо серьезную больницу, в клинику или в институт. Но ему отказывали, как видно не читая прилагаемых документов, отказывали на одном только основании, что-де «доцент-консультант» вынес свой приговор. И опять-таки никто не задумался о том, что все течение болезни Хатнюк теперь полностью противоречит всем предсказаниям доцента С., как не пожелали задуматься об этом южно-сахалинские эскулапы, имеющие возможность ежедневно наблюдать больную.

Вот в это трагическое для себя время Таисия Хатнюк, искавшая только техни-

ческую возможность для того, чтобы покончить с собой, услышала по радио небольшую передачу о «рискованном» докторе Николае Евгеньевиче Слупском.

По географическому атласу нашла Таисия Хатнюк в огромных просторах Советского Союза маленькую точку — Сестрорецк — и написала Слупскому про рак, про невыносимые страдания, написала — «спасите», и, отправив письмо, постаралась о нем тут же забыть. Мало ли кому она писала — и кто либо совсем не отвечал, либо отвечал в том смысле, что не может сомневаться в диагнозе ученейшего доцента С.

Но Николай Евгеньевич ответил.

Отвечая, он все взвесил — прежде всего сроки. И, отвечая, он был, разумеется, почти убежден, что рака в данном случае нет.

Хатнюк прилетела в Ленинград на самолете.

Прикрывая своими характерными шуточками боль сострадания (а Слупский

за тридцать пять лет работы отнюдь не разучился сострадать), Николай Евгеньевич осмотрел то, что осталось от молодой женщины, и, сопоставив с данными анализов, спокойно, решительно и твердо сказал:

— Никакого рака у тебя, матушка, никогда не было и нет!

Но на это счастливейшее сообщение Хатнюк едва слышно прошептала:

— Ну и что же, что нет? А как же мне жить теперь, когда я такая — ни с чем не сообразная? Кто мне и близко-то человеку подойти противно. Все равно, доктор, мне такая жизнь ни к чему.

Ошибки бывают. Но какая же нужна слепота самоуверенности и жестокости, чтобы одним только невниманием к ясным вещам довести молодую женщину до того, что она, получив жизнь, от этой жизни отказывается.

— Не надо тебе такой жизни? — осведомился Слупский. — А мы, Таисья, тебе такую жизнь и не предлагаем. Ты же на самолете сюда для того прилетела,

чтоб мы тебя полностью и целиком починили, мы и починим, да так, что лучше прежнего станешь. Надейся на нас.

И тут все — и главная верная постоянная помощница Слупского Понявина, и замечательные его операционные сестры Цурикова и Малинина, про которых Слупский говорит, что им только дипломов врачебных не хватает, а то бы настоящие доктора были, и тетя Таня Зверева, санитарка, — все увидели подобие улыбки на лице исстрадавшейся женщины. За это невыносимо страшное для себя время она первый раз почувствовала, что будущее ее небезразлично людям, что ей есть теперь на кого опереться и что ее «поднимут».

Ликвидировав на первой операции «элементарнейшую, вульгарнейшую кисту», Николай Евгеньевич выждал положенное время и приступил ко второй операции. Вторая была посложнее. Он возвращал Хатнюк обещанное — калека вновь становилась нормальной женщиной, своей же хирургии Слупский воз-

вращал поперанную «проворными резаками и джигитами от хирургии» ее высокую честь.

Мурлыкая из «Онегина», старый врач работал — бережно, продуманно и осторожно, а доктор Понявина, операционные сестры две Веры — Цурикова и Малинина, санитарки Клавдия Ариничева и тетя Таня от волнения и от радости участия в этой прекрасной работе потихонечку плакали. Высокий смысл необыкновенной этой операции был понятен всем.

И вот наступил наконец день выписки из Сестрорецкой больницы, веселый день прощания. Таисия Хатнюк, успевшая побывать у парикмахера и сделать себе «форменную» прическу, — бывшая больная, бывшая приговоренная, временно изуродованная «хирургическими джигитами» и как бы наново сотворенная Слупским, теперь совсем здоровая, прощалась и благодарила, плакала и смеялась, целовала и хвасталась своим обретенным благополучием.

Прощание прощанием, а Слупский, вздев очки на нос, подписывал какие-то ведомости, наверное, на крупу, лук, мясо, макароны. Лицо у него сосредоточенное, в огромной руке едва заметно маленькое перышко, «деревенский» доктор и к этому не столь ответственному делу относится максимально добросовестно.

— Знаете, — смеясь и всхлипывая, рассказывала Хатнюк, — знаете, не могу я ни на что смотреть без счастья: дерево растет, — думаю: ну, расти мое дерево, расти! Или люди идут, поют... ну, пожалуйста, добрые люди, пойте еще! Или вот ветер. Господи, я же живая. А была не то что мертвая, хуже мертвой, потому что мертвым заслуженный почет, а от меня людям было только отвращение. И мысли: какие люди удивительные у нас. Ну зачем я Николаю Евгеньевичу? Зачем он меня на аэродроме встречал? Зачем ему со мной хлопотать? А ведь вот возле меня часами сидел, а то даже и ночами.

— Оперировать и обезьяну можно научить, — угрюмо сказал из-за ведомостей Слупский. — А вот выходить, это — шалишь. Выходить и, допустим, заставить с аппетитом есть...

Наверное, тонны картошки и мяса вызвали у Слупского соответствующие ассоциации.

— Теперь отлично ест, — сообщил он. — Великолепнейший аппетит...

Прощаясь, поплакали все. Поплакал и Николай Евгеньевич, делая, разумеется, вид, что он очень занят, очень спешит и некогда ему со всякими этими пустяками!

Таисия Хатнюк ушла. Тихо стало в маленьком кабинетике, Слупский еще раз проглядел свои ведомости и сказал:

— Есть такая точка зрения, и даже у очень хороших докторов она, к сожалению, имеется, что-де всех больных не пережалеешь, что, можно сказать, сердца не хватит на страдания всех, кто через твои руки прошел. Помню, обратился в старопрежние времена к одному

известнейшему доктору с просьбой проконсультировать мне больного. Так ведь он как ответил? «Я работаю над книгой и, можно сказать, ее заканчиваю. Именно поэтому на консультации совершенно не могу отрываться. Они меня отрывают. У меня от них в глазах круговерчение». Это как же понять, спрашивается в задачке? Хоть ты и профессор, но разве ты уже не врач? Мне, по серости, все кажется, что профессор непременно очень хороший врач. Впрочем, такое мое непросвещенное мнение некоторые из профессуры не разделяют, они даже сердятся на меня и очень на эти вульгарности фыркают. Имел место, кстати, помню, не так давно совсем неловкий случай. Собрались исключительно в своем кругу на полуторжественное заседание именно такие, пишущие книги, ваяющие, что ли, для потомства крупнейшие, монументальнейшие, непревзойденнейшие различные там монографии. И вот одному из них стало плохо. Душно, дело

было вечером, приустиали наипочтеннейшие, ну и окна закрыты, сквозняков-то побаиваются. Собрались коллеги возле коллеги. Высказывают различные научнейшие предположения, и вдруг раздается единственный трезвый голос: «Да вызовите же наконец врача!» Прибежал эдакий выпученный вахлак, вроде меня, велел окошко раскрыть, воротничок достоуважаемого коллеги расстегнул. Конфузно, конечно. Нетипично и все такое, но только, размышляю я, подлинные профессора, как например покойный учитель мой Греков, как Джанелидзе, как Бакулев, Спасокукоцкий, Куприянов, Бурденко, Вишневский и другие, такие, как они, потому профессора, кроме научных своих заслуг, что и врачи они совершенно никем и никогда не превзойденные. И тут глубоко наша партия права: ученый — медик обязательно и непременно — делатель. Потому что, если все только рассуждать, то таких случаев печальных, как с Таисией Хатнюк, не обобратся...

С Таисией Хатнюк, разумеется, случай. Но примечательно то, что исправлений таких вот «случаев», как с Хатнюк, в жизни Слупского несколько десятков. И случаи эти надобно обязательно замечать и отмечать, как замечает и отмечает наша советская власть всякий доблестный труд. Трудовой честностью определяем мы ценность человека. И именно поэтому нам не дано право не видеть того чувства личной ответственности за все и за всех, каким наделены люди характера «деревенского» доктора Слупского. И еще потому надлежит нам отмечать такие «случаи», что, знакомясь с ними, доценты типа консультанта С. вдруг да захотят стать просто врачами, такими, как Слупский, и перестанут мнить себя неошибающимися светилами. А некоторые товарищи, работающие в системе нашего здравоохранения, может быть, станут внимательнее читать письма, в которых идет речь о человеческой жизни...

НА СЕДЬМОМ ДЕСЯТКЕ

В день скромнейшего своего шестидесятилетия Николай Евгеньевич поздравительные депеши и письма получал сотнями — поздравляли люди, обязанные ему всего лишь только жизнью. Поздравил и райздрав. Горздрав об этом шестидесятилетии ничего не знал. А хорошо бы и горздравам помнить юбилеи таких людей, как Николай Евгеньевич Слупский.

Впрочем, Николай Евгеньевич не рассердился и даже нисколько не обиделся.

— Ну что ж особенного, — сказал он с улыбкой. — Как можно нас помнить. Нас ведь тысячи врачей-солдат!

Весьма характерно был проведен Слупским и самый юбилей: торжественное заседание состоялось в восемь часов пятьдесят минут утра, до пятиминутки, до обходов, назначений и операций. На поздравления Слупский, кроме всего прочего, ответил и такими словами:

— В моем лице вы, дорогие друзья,

соратники мои и помощники, без которых я бы никому никакой пользы принести не мог, поздравили всех тех, кто именно в это время, как и мы, собрались на пятиминутки в своей больничке, больнице или клинике, в огромном нашем Советском Союзе, всех тех медиков, которые, как и мы с вами, стараются и денно и нощно как можно лучше делать свое дело на пользу трудовому народу, всех тех, кто честно, добросовестно и в меру своих сил воюет с болезнями. И так как поздравили вы меня не с тем, что стукнуло мне шестьдесят лет, а с тем, что и я тоже в меру своих сил дело делал, то давайте отметим этот нынешний день тем, что сегодня как можно лучше потрудимся...

Так и сделали.

В этот день Николай Евгеньевич прооперировал четырех больных, долго работал в перевязочной, а одному больному, который пожаловался на то, что лежит уже более полутора месяцев, дру-

гие же больные выписались, Николай Евгеньевич сказал:

— Милый ты мой, так разве я виноват в том, что ты себе такую болезнь выбрал. Вот твой сосед выписавшийся — умница, он себе аппендицитик выбрал, предварительно со мной посоветовался, вот и гуляет. Но и ты тоже не огорчайся, мне нынче на седьмой десяток перевалило, я полного ума набрался, взошел в мудрость и, наверное, скоро назначу тебя в Дубки на танцы...

И вечером этим, как обычно, был Николай Евгеньевич в больнице, и после часа ночи его тоже вызвали. Операция была трудная, но прошла успешно. Поздней ночью Николай Евгеньевич разрезал конверт, в котором было письмо от старого друга, врача из Архангельской области:

«Можно 35 лет абсолютно честно делать свое дело, — читал Николай Евгеньевич, — и начальство тебя не вспомнит, а вот ежели на аэроплане или, еще лучше, на вертолете к больному сле-

таешь, тут тебе почет, уважение и эффектная фотография, где ты вроде бы даже и молодой, и красивый, и этакий, черт возьми, еще даже шалунишка. Как будто бы, друг мой Николай Евгеньевич, самолет или вертолет, которым снабдила нас советская власть, менее удобен, чем подвода, да еще запряженная быками, розвальни или полуторка, в которых прошла вся наша жизнь. А у меня к этому набору, как тебе известно, прибавляется еще «корабль пустыни» верблюдов и проклятый ишак, о котором до сих пор не могу вспомнить без ненависти. Важно, брат, другое: таких, как ты, ни один человек дурным словом не вспомнит. Кстати, о словах: просил передать тебе всякие добрые слова от имени группы моряков мичман Назаров. Повстречались мы тут с ним на рыбалке. Он со своими матросами угодил под бомбу еще в эпоху блокады Ленинграда. Так вот, все они после твоего вмешательства живы и здоровы. Вспомнил?»

Николай Евгеньевич вспоминал долго, но так и не вспомнил. Потом аккуратно сложил всю сегодняшнюю корреспонденцию, привел в порядок папку с сообщениями, сделанными им на научных конференциях, с докладами и статьями, подивился, что их порядочно, около сотни, положил перед собой чистый лист бумаги, хитро улыбнулся и написал:

«Дорогой дружище, Ленинградская область в моем лице приветствует Архангельскую в твою. Не имея возможности выразить благодарность всем, поздравившим меня в день моего шестидесятилетия, через печать, выражаю благодарность лично...»

Настроение у него было великолепное.

Недавно Николай Евгеньевич сказал: — Оставили меня главным врачом моей больницы. Полтора миллиона денег дали на всякие достройки и перестройки и оставили. Удивительно в этом

смысле мы живем. Правда непременно себя окажет. Не могу же, как говорится, иждивенцем вдруг сделаться. Не могу не работать. Разобрались, все отлично. А только думается, что можно было в свое время и обойтись, чтобы не обижать. Не надо человека обижать, это, разумеется, мораль прописная, но горькие эти минуты трудно, знаете ли, забыть...

Помолчал и усмехнулся:

— Впрочем, не так уж и трудно, если дела много...

Сосново
1961

СОДЕРЖАНИЕ

Не легко молодому...	5
Чудо в Чудове	23
На войне как на войне	42
И вся-то наша жизнь есть борьба... . .	59
О полезной жизни	81
На седьмом десятке	96

Герман Юрий Павлович

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!

Редактор *И. С. Кузьмичев*

Художник *Н. И. Васильев*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *Т. П. Калецкая*

Сдано в набор 16/VIII 1961 г. Подписано
в печать 30/IX 1961 г. М-31619. Бумага
84×108^{1/64}. Печ. л. 1^{5/6} (2,67). Уч.-изд.
л. 2,35. Тираж 150 000 (1 завод — 50 000) экз.
Заказ № 1119. Цена 13 коп.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

13 коп.